[200] *Ориген.* О началах. II, 11, 4, 5. «Вообще теперь мы еще только ищем, тогда же ясно увидим» — так заключает Ориген сопоставление посюстороннего и потустороннего познания. (Там же. II, 11, 5).
[201] Там же. IV, 36.
[202] См.: Там же. I, 6, 2; II, 8, 3; III, 4, 1.
[203] Ориген во взглядах на структуру человека разделял платоновскую субординацию, в соответствии с которой душу считал низшим началом по сравнению с духом (она есть «ум, уклонившийся от своего состояния и достоинства» — (Там же. II, 8, 3), началом, представляющим «нечто среднее между немощною плотью и бодрым духом» (Там же. II, 8, 4).
[204] Там же. III, 4, 2—3.
[205] Там же. II, 8, 3.
[206] Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 466.
[207] См.: *Сарычев В. Д.* Святоотеческое учение о богопознании // Богословские труды: Сб. 3. Изд. Московской патриархии, 1964.
[208] *Ориген.* О началах I, 7, 4. Выше (I, 7, 1) Ориген утверждает, что все разумные существа «по своей природе бестелесны», однако существовать «без всякой примеси телесности» может только Бог (Там же. I, 6, 4; ср. II, 2, 2).
[209] *Волотов В. В.* Лекции по истории древней церкви. СПб., 1910. Т. II. С. 345.
[210] См.: *Ориген.* О началах. Кн. 3, гл. 4, § 1—5.
[211] *Гарнак А.* История догматов // Из истории раннего христианства. С. 293.

ГЕГЕЛЬ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
(Размышления о личности молодого Гегеля)

М. Ф. Быкова

Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены.

Данте

Размышления, подтолкнувшие меня на написание настоящей статьи, связаны с осмыслением довольно распространенного в научной и околонаучной (и не только философской) среде и литературе суждения о Гегеле как о страшном человеке. Определение «страшный человек» по отношению к Гегелю доводилось мне слышать неоднократно из уст различных — как по возрасту, так и по профессиональным интересам — людей. Характерны и должны быть приняты в расчет их аргументы, доводы, оценки. Кроме того, на помощь приходят книги, где они более или менее систематизированы.

Гегель... Да, это имя нередко вызывает ужас или раздражение. Его образ совы Минервы вдруг представляется чудовищем, полночный час вылета которого якобы весьма соответствует зловещей таинственности самой гегелевской философии. Что эта таинственность чудодейственна, что она способна завораживать — конечно, тоже принимается в расчет. Да только о ней говорят снисходительно или раздражительно: мы-то дескать, от этого избавлены... Занимаясь Гегелем, я сталкиваюсь с «синдромом» неприязни, раздражительности по отношению к философу. Антипатия к Гегелю порой

настолько глубока, что люди, философская эрудиция которых, талант, способность к историко-философской рефлексии (а это, по-моему, особый дар) не могут не вызывать уважение и почитание, советуют написать о Гегеле так, чтобы просто разбить, перечеркнуть его окончательно. Все это в немалой степени культивируется и в иных биографических и квазибиографических сочинениях о мыслителе. Дело в том, что при всей кажущейся объективности изложения документальных и биографических данных в такого рода книгах сам их пафос таков, что Гегель остается в памяти читателя, быть может, и неглупым, даже глубоким философом, но исключительно несимпатичной личностью, а также создателем вредной, «страшной» философии. Доминантами его характера объявляются жесткая решимость, непреклонность, жестокость, упрямство, даже деспотизм, суровый педантизм, скупость и т. д. Гегель изображается «страшным человеком» еще и потому, что он-де был «замкнут» в пространстве своих абстрактных мыслей и спекулятивных построений. Образ социально-политической и социально-этической философии Гегеля, в построение которого, кстати, внесли свою лепту и крупные философы XX в. (Э. Кассирер, К. Поппер), вменяет Гегелю в вину то, что он-де стал теоретиком тоталитарного режима, абсолютной власти. Гегеля-метафизика обвиняют в том, что он создал культ всеобщего, абсолютизировал всеобщее благодаря подавлению единичного, индивидуального, личного. Суровый шваб, изображаемый практически на всех воспроизводимых у нас портретах «официально», несколько отчужденно: со спокойным, кому-то кажется жестким, даже устрашающим взглядом; в портретах литературных — уже самоуверенный, довольный собою, официозный философ. А как же иначе: прижизненное признание, соответствующие официальные должности, ученики и последователи, а в центре всего — созданная «на века» система с якобы реализованной претензией на абсолютность и завершенность. Приблизительно таков образ Гегеля, который создает ему славу «страшного человека».

Справедливости ради надо заметить, что сам Гегель порой давал для подобной оценки определенные основания. И дело здесь не только в сложности его философской системы — многообразии абстрактных, спекулятивных построений, сквозь которые приходится буквально «продираться» к реальному содержанию, изобилии насильственных конструкций, ведущих к явной мистификации вполне реальных проблем и вопросов. Определенные основания заключены и в самом содержании системы: как бы Гегель ни стремился быть ревнителем индивидуальности, единичности, все же всеобщее одерживало над ним верх, и при этом не только в виде некоторого абстрактно-всеобщего (абсолютная идея, дух), но и в качестве чего-то институализированного (общества, государства, права, морали и т. д.)[1]. Некоторые эпизоды из жизни Гегеля, его манера поведения в определенных ситуациях, некоторые черты характера вряд ли вызвали бы теплые чувства. Да, Гегель порой отличался излишней категоричностью, определенной нетерпимостью к оппоненту, иногда жестокостью в отношениях, в том числе и с друзьями. Все это было. Однако когда такие, вроде бы не «встраивающиеся» в линию поведе-

ния «положительного героя», черты, свойства, поступки абсолютизируются и заслоняют все другие, они «вдруг» превращаются в «аргументы» в пользу «страшного образа» Гегеля. И становятся как бы определяющими в образе личности. Я не берусь здесь анализировать причины такого преображения. Но думаю, что основной является привычка мыслить в парадигме бинарности. Привычка, которая особенно пагубна в гуманитарных исследованиях. Уже в самом подходе к оценке (явления, объекта и т. д.) даны только два полюса, и вся деятельность исследователя (наблюдателя, мыслителя) сводится к выбору между ними. Добро или зло, истина или ложь, хорошее или плохое, положительное или отрицательное, биологическое или социальное, разумное или чувственное — сколько угодно долго можно продолжать этот перечень. Но мир, жизнь, человек намного сложнее, и эти два измерения (а в действительности их, конечно, намного больше) присутствуют в них в такой, порой причудливой, форме, что выбор между ними не просто упрощает, обедняет явление, личность, а, по существу, лишает их реальной жизни, схематизирует.

Гегель не был лишен некоторых, возможно, неприемлемых для нас, не нравящихся нам свойств и черт. Однако это вряд ли означает, что его образ должен быть сведен лишь к этим проявлениям. Образ Гегеля наверняка подвижнее, многообразнее, возможно, и противоречивее, ибо это образ живого человека — человека страдающего, мыслящего и действующего. Отмечу и еще один, весьма, по-моему, существенный момент. Речь идет о необходимости анализа и оценки личности (в данном случае личности философа), прежде всего в контексте той среды (социальной, идеологической, реальножизненной, ситуативной), в которой он жил и творил. Здесь «ключ» ко многим «открытиям» и поражениям личности, к взлетам и падениям духа, к кажущимся неясными свойствам, к вроде бы выбивающемуся из «общего замысла» поведению. То же и с Гегелем. Свойства и черты его личности во многом (хотя и не до конца), возможно, могут быть объяснены той социокультурной обстановкой и средой, которая, будучи действительной обителью Гегеля, обеспечивала определенный простор для мыслительной работы, но в то же время и ограничивала саму личность в чем-то очень существенном и жизненном. (Не потому ли у Гегеля проблема субъективности приняла специфическую, гипертрофированную форму и предстала в качестве действительной лишь как проблема абсолютной субъективности?) Вот почему и к тем проявлениям, которые вроде бы делают Гегеля несимпатичной личностью, необходимо подходить очень дифференцированно и, если угодно, конкретно-исторически. Например, часто гегелевскую привычку регулярного ведения книги доходов и расходов оценивают как неприглядную черту его характера. Действительно, для кого-то из нас это лишь свидетельство скупости, гипертрофированного педантизма. Однако вспомним, что тщательное регулирование семейного бюджета, экономия средств для Гегеля были вызваны постоянным весьма критическим уровнем его материального состояния. Гегель не раз практически находился на грани тогдашней немецкой бедности. Да и некоторые дру-

гие проявления характера Гегеля, кажущиеся сегодня, увы, не самыми добрыми и симпатичными, оказываются объяснимыми и понятными в контексте современной Гегелю эпохи и среды. Биограф Гегеля К. Розенкранц в этой связи подчеркивал: «Механизм берлинской жизни требует умения придерживаться твердой и последовательной линии, если не хочешь стать игрушкой в чужих руках и при самом большом даровании превратиться в ничтожество...»[2].

Итак, настолько ли объективно «страшен» Гегель? Не «прощая» Гегелю его спекулятивно-идеалистические ошибки и заблуждения, логицистские «выверты» и противоречия, критически осмысливая его теоретические результаты, буду все же иметь смелость утверждать, что Гегель вряд ли был неким «чудовищным призраком». Но мне бы не хотелось, чтобы читатель истолковал эти размышления как простую апологетику Гегеля. Он не нуждается в защите. Значительное тому подтверждение — гегелевский ренессанс конца XX в.

Было бы важно, чтобы эта статья рассматривалась как приглашение к продолжению разговора о личности философа, разговора объективного, доброжелательного, умного. В нашей литературе традиция исследования личности ученого наиболее полно представлена в популярной серии «Жизнь замечательных людей». Кроме того, имеются популярные и полупопулярные серии «Мыслители прошлого», «Жизнь замечательных идей» и др., авторы публикаций в которых в большей или меньшей степени также обращаются к исследованию личности ученого. Однако в научных исследованиях личностный пласт, как правило, остается за рамками интереса (и, по-видимому, это беда не только авторов, но и издателей трудов, оберегающих «чистоту» научного жанра в соответствии с неизвестно кем и когда выработанным стереотипом строгой академичности и научности). Правда, Гегелю здесь повезло немного больше, нежели другим философам. Так, вышедшая в издательстве «Наука» книга Н. В. Мотрошиловой «Путь Гегеля к "Науке логики"» (М., 1984) в качестве одной из задач имела исследование личностного развития Гегеля. Однако разговор лишь начат...

Включаясь в этот разговор, хочу привлечь внимание читателей к юношеским годам Гегеля, к его тюбингенскому периоду. Ибо здесь можно не только вычленить мотивы для его позднего философского развития, но и увидеть живой образ Гегеля, почувствовать «пульс» его жизни, найти объяснение некоторым «тайнам» его личности, понять внутренние черты его во многом уже сложившегося характера.

Философ... Насколько многогранно содержание этого понятия. Здесь и профессиональное призвание, и серьезное, сознательное устремление в глубь смыслов, и значительный индивидуально-личностный пласт. Что является определяющим в этом причудливом синтезе уникально-индивидуального (Я, личности) и индивидуализируемого всеобщего (обращенной «на себя» памяти культуры), что привносит сюда реальные смыслы? Несомненно, лидирующая роль принадлежит личности со всеми ее страстями, чувствами и интеллектуальными переживаниями. Личность человека, его индивидуальное Я, уникально-личностное человеческое естество не может пе-

рекрываться, заслоняться его профессией (как в смысле процесса деятельности, так и в аспекте ее результатов — например, созданной философской системы), особенно когда профессиональный интерес найден на поприще философии. Личность всегда глубже, сущностнее, ярче. Но она, как правило, выказывает свою суть, внутреннюю сущность лишь через «содеянное», через текст (будь то научная система, полотно художника, предмет, сделанный ремесленником, и т. д.). Не потому ли изучение личности (а философа особенно — уже в силу специфики философского действия) — дело весьма сложное и трудоемкое. Особенно через столетия. Как правило, исследователь имеет в своем распоряжении вторичный материал — воспоминания современников, официальные документы и т. д. Специальные научные труды философа, пусть они всегда имеют индивидуальную окраску — и чем значительнее личность их создателя, тем уникальнее личностное начало в философских произведениях, — все же не создаются их авторами с главной целью: выразить самих себя... Первичным материалом, по-видимому, можно считать письма философа. Еще ближе к непосредственному личностному миру — дневниковые записи, особенно если они действительно написаны «наедине» с собой и только для себя. Тут могут уцелеть для истории чисто личностные переживания, мысли, ощущения, т. е. душа, живущая собственной жизнью.

Ниже вниманию читателей предлагается перевод одной из таких записей[3] 22-летнего Гегеля — студента Тюбингенского теологического института, или, более точно, theologisches Stift. Странички из дневника датированы 27.06.1792 г.

...Гегель уже почти четыре года в Тюбингене. Уже окончены первые два курса, на которых преимущественно изучалась философия. Написаны два небольших философских сочинения, и защищена магистерская диссертация (правда, по введенному порядку не своя собственная, а написанная под наблюдением, фактически в соавторстве с профессором Августом Бэком). Уже второй год продолжается непосредственное изучение теологии с обязательным подробным штудированием догматов церкви и теологических работ. Восхищение Кантом, его трудами, царившие среди преподавателей Тюбингена, передавалось и студентам. Но критичный молодой ум Гегеля не может согласиться с апологетикой философии Канта — даже такими ее большими знатоками и ценителями, какими были преподаватели Тюбингена Иоганн Флат[4], Готлиб Рапп[5] и др. Юный Гегель, изучающий Канта самостоятельно, еще не находит в его философии созвучия своим мыслям, идеям, устремлениям. Гегель в поиске: в поиске своего жизненного пути и поиске себя. Но этот поиск обоснован уже выработанными принципами и устремлениями, самостоятельными идеями и мыслями, которые еще не приобрели форму научных текстов, но неоднократно проговорены в дискуссиях со студентами-однокашниками, особенно с близкими друзьями.

Дружеский союз Гегеля с Гельдерлином превратился уже в союз тройственный: в 1790 г. в Тюбингене появился 15-летний Шеллинг, взгляды которого оказались созвучны духу, переживаниям, интеллектуальным предчувствиям и интуициям юных друзей-со-

курсников. Объединенные тесными узами дружбы, юноши окрылены духом и величием событий Французской революции. Они славят достоинство и свободу, красоту и разум — все то, что весьма созвучно пытливым порывам юношеского ума и сердца.

Гегель молод. Он влюблен. Уже некоторое время он испытывает неразделенное чувство к Августе Гедельмейер — дочери профессора теологии в Тюбингене. Оставаясь наедине с собой, «старик» (а так прозвали в Тюбингене Гегеля его соученики за старообразную внешность и за то, что он в первые годы учебы предпочитал развлечениям чтение книг) часто размышляет о себе...

Прислушаемся к его мыслям и переживаниям, вдумаемся в их смысл, попытаемся проникнуть в живой, реальный образ Гегеля — с тем чтобы потом поразмышлять о нем...

27.06.1792

Поздний вечер, все уже спят. Собственно, сегодня не произошло ничего, что стоило бы записывать, — не считая, может быть, спора с Шеллингом. Но это было уже во второй половине дня. Утром же все было как обычно: подъем, молитва «из-под палки» — и еще до того, как кофе согреет тебе сердце и голову; затем — в комнате— чтение, позднее — повторение, еда и перед всем и после всего этого — опять молитва, едва ли хоть одна мысль. Да и лекции Флата для меня всегда пустые. В основе — только его желание спасти свои откровения, пусть он так много, без умолку болтает о Канте. Как он сегодня опять искажал каждое слово «Критики»! Прав Рейнгардт[6], они настраивают солнце по стенным часам, как будто бы философия должна заботиться о догмах. Только ли кокетничала сегодня Августа? Ее глаза удивительны! Очевидно, считает она меня неотесанным, неуклюжим. Если б только у меня было немного больше присутствия духа. Я пью и пью — хочу приобрести немного легкости, а становлюсь от этого еще тяжеловеснее. С другой стороны — Руссо ведь тоже не был блестящим в компании. Руссо! Я должен еще дождаться полночи, когда настанет день его рождения! Боже мой, — и остальные спят, — даже Гельдерлин. Руссо презирал все: легковесность, болтовню, тщеславие. Он был тоже тяжел — и хорошо. Очевидно, я — как он. Но, собственно, я охотно бываю среди людей. Природа, уединенность, тишина... Но ведь я неплохо чувствую себя, когда беседую во время прогулки. Это опять напоминает мне о споре с Шеллингом. Думаю, он немного страдает манией величия. Как будто новое может просто взяться из воздуха! Для меня это все слишком спекулятивно. Нужно наблюдать за тем, каковы люди. Если кто-то хочет, чтобы люди к нему прислушивались, необходимо добраться до их сердец; то, что говорил Шеллинг, фантастично, но так абстрактно! Кто Я, что есть Я? Руссо более прав. Возможно, я несправедлив к Шеллингу. Ведь он хочет того же, что хочу и я. Всеединства. Но можно ли это доказать, продемонстрировать? Жизнь, она должна это суметь! А он, Шеллинг, верит: когда он сочиняет что-либо о мире, то мир к тому прислушивается. Видимо, я завистлив. Он блестящ, поэтому так уверен в себе, пишет же он о Фихте как о равном! И Шеллинг на пять лет моложе меня...

Кто знает, как много еще времени пройдет, пока узнают мое имя. А ведь мне есть что сказать! Но стоит мне это начать записывать, всегда выходит что-то другое, менее значительное. И все же я был сегодня прав! Философия должна быть практической! Учением о познании можно заниматься тогда, когда нечто уже сделано в мире. Я думаю, Гельдерлин все же мне ближе. Греки! Там у них была свобода, они могли наслаждаться жизнью. У нас это уже скучно. Бог мой, я мечтаю о Греции — и сижу здесь в Tübinger Stift[7]. А даже Франция далека. Но через 14 месяцев мы поднимем здесь, в этой комнате, бокалы с вином![8]

Лихие парни: запереться в комнате, когда герцог наносит визит! А трубка, которую он им выбросил из окна! Гельдерлин тоже курит слишком много. Хотя при этом пью я больше. Курить и пить — вот наша оппозиция, как это плачевно![9] Но что здесь еще остается? Лучше торчать в пивной, чем молиться в Stift. Ах, я становлюсь банальным. Но уж остроумным-то я должен быть!

Средний я, обыкновенный. Шеллинг все же получил от мира больше. Меня слушают только мои друзья — но, видимо, лишь один раз. Гельдерлин показывал мне сегодня вечером чудесное стихотворение, которое он написал: «я... страдаю! вечно и вечно так!..» Когда-нибудь всем нам вместе удастся ли что-то создать?

Утром должен я еще раз беседовать с Раппом. Он разумный малый, но всегда попадает впросак от изощренности Флата. Как будто бы с помощью умозаключений можно доказать бога! Разум и свобода, невидимая церковь! — а не эта обременительная несговорчивость доктринальной веры (Kathederglaubens).

После обеда буду гулять с Августой, видимо, и пить вино, рассказывать ей о дне рождения Руссо. Интересно ли ей? Гельдерлин говорит, что женщины притупляют его честолюбие. Но вполне возможно, что они его окрыляют. Я желал бы, чтобы со мной была женщина, которая бы мною восхищалась. Которая не делала бы меня неуверенным, прислушивалась бы ко мне, распознала бы во мне самое высокое. Она должна быть красивой, чтобы ее восхищение приносило и мне радость. Гельдерлин хорош собой, а я нет. Хотя, судя по рисунку Фаллота, стыдиться особенно нечего.

Я буду завтра Августе читать вслух из «Новой Элоизы»[10] — или лучше из «Эмилии»[11]? ...Здесь ужасный воздух. И как только все они могут спать! Я должен выдержать еще год — а потом уже идти в мир. Несомненно, что я не стану священником. Может, я буду писателем, смогу однажды написать так, чтобы люди почувствовали, чего я хочу, чтобы они поняли, что должно произойти.

Двенадцать часов! Руссо! Ты покоишься на своем острове. Если бы ты знал, что уже случилось... И что еще случится, даже здесь! Невидимая церковь. Я приветствую тебя.

Запись в дневнике — некоторые «мысли вслух», размышления о себе, друзьях, любимой, о жизни... Что они могут рассказать нам, живущим почти двумя столетиями позже, о человеке, чье имя устрашает? Есть неплохой, я думаю, материал, чтобы поразмыслить о Гегеле как о живом человеке, если угодно, «примерить» себя к нему. Соблазн усиливается тем, что речь идет о молодом Гегеле. Его переживания, мысли, стремления созвучны юношеству и сегодня.

Молодой Гегель... Что волнует и мучает его? Что заставляет его в предполночный час, вроде бы не отмеченный яркими событиями, склоняться над страницами своего дневника? Как просто и как сложно понять его... Он ищет себя: томимому жаждою мысли, ему тесно в кельях веры; опьяненному воздухом Французской революции, ему душно в атмосфере тогдашней Пруссии; воодушевленный образами Греции и идеалами Руссо, он терзается собственной бездеятельностью, бесполезностью, неспособностью найти с в о е место, сказать с в о е слово в жизни. «Кто Я, что есть Я?» — вопрос, обращенный к абстрактному Я философии Шеллинга, Гегель примеривает и к самому себе: «Каков Я?»

Как знакомы всякому молодому человеку эти поиски своего Я, терзания над определением смыслов и ценностей собственного существования — попытками дерзко и неуверенно «соразмерить» себя с идеалами и кумирами, друзьями и ровесниками, со временем, в которое выпало жить...

Жизнь человека — целый мир, наполненный противоречиями: удачами и бедами, мечтами и грезами, желаниями прекрасного и несбыточными надеждами, счастливыми открытиями и невосполнимыми утратами. Несложно заключить, что Гегель был таким же, как все: живым человеком со всеми свойственными ему (особенно острыми в молодые годы) терзаниями и сомнениями, непредсказуемыми, противоречивыми страстями, мыслями и действиями. Но он был одновременно и другим, иным, отличным ото всех. И дело здесь не столько в, видимо, уже обнаружившемся философском даровании Гегеля, в его энциклопедичности и таланте — ведь недаром его выбрал для бесед и споров несомненно талантливый Шеллинг, — сколько в настойчивом поиске Гегелем индивидуального Я и в том, что этот поиск уже в юности привел его к осознанию с а м оценности индивидуальности, «самости». Дарования, глубокие знания лишь акцентируют эту уникальность, придают особую огранку драгоценному, пусть еще не вполне проявившемуся таланту.

Не все черты личности Гегеля отвечают привычному для нас образу «положительного героя». Внешняя скрытность, по признанию самого Гегеля, была его специфической особенностью. Замкнутость и внешняя суровость молодого Гегеля накладывает отпечаток на его отношения с товарищами: его манера общения лишена изящества и легкости, он внутренне скован, неловок. Но Гегель мучается и страдает[12]. Он понимает, что общение с ним не всегда приносит радость, чаще он в тягость окружающим. И сам он тяготится — своей

неуклюжестью, некоммуникабельностью, какой-то, по его мнению, неинтересностью, неоригинальностью. И переживания эти заострены искренним чувством к Августе. Но вряд ли можно свести дело к такой понятной для юноши тоске по ответному чувству. Речь идет о более глубоких внутренних смысложизненных размышлениях.

А вот они уже выделяют Гегеля. Молодой Гегель обостренно переживает то, что считает неудачей в поиске своей индивидуальности, — и это в Германии, где быть и казаться таким, как все, было предпочтительно! Столь мучительные переживания собственной «неполноценности» рядом с блестящим, хотя и совсем юным Шеллингом, ярко одаренным Гельдерлином. А он никак не научится выражать на бумаге теснящиеся в голове мысли, хотя уже чувствует, ему есть что сказать людям. Смутное ощущение своего высокого жизненного предназначения соседствует и с неуверенностью, и с «уговариванием» самого себя... Как важен для понимания личности Гегеля этот причудливый синтез — порывов юношеского самоутверждения и зрелой мудрости, уже якобы разгадавшей тайну самобытности. Да, для Гегеля важно состояться. Отличиться, быть признанным — и не только среди друзей и ровесников, — но при этом различиться с другими, найти свое видение, свое понимание, свое Я. И второе здесь превалирует. Нет, это не легкомысленное тщеславие — его, как полагает Гегель, презирал Руссо, а потому надлежит отвергать всякому преданному почитателю французского мыслителя. Спорный вопрос: был ли тщеславным Руссо? Можно спорить и о том, какую роль играло тщеславие в личностном мире Гегеля. Но сейчас — в юности — Гегель всегда пребывал в состоянии неуверенности в себе, нерешительности. Впрочем, в известной степени неуверенность преследовала его всю жизнь.

Однако может возникнуть вполне резонный вопрос: как человек, испытавший неуверенность в себе, долго и трудно пролагавший себе путь в философии, превратился в одного из самых «категорических» мыслителей, который, как полагают многие, сотворил одну из наиболее «самоуверенных» философских систем. Что касается духа (характера) системы, то в большей степени это было данью традиции. Разбивка на параграфы, разделы, главы была общепринятым методом структурирования научных текстов. Да и логическая парадигма системы, совершенствующаяся Гегелем практически всю жизнь, диктовала свои, строго «категорические» законы построения. Немалую роль сыграл и немецкий язык, который так приспособлен для выражения архитектоники сложной системы. Выступая на XVIII Международном философском конгрессе (Брайтон, 1988), профессор Ю. Хабермас высказался в том духе, что философские проблемы могут, дескать, адекватно обсуждаться на немецком языке — истинно философском. Я не берусь давать здесь оценку этой мысли Ю. Хабермаса, который долго и продуктивно занимался изучением проблем языка. Но что касается гегелевской системы, то, думаю, именно немецкий язык внес в философскую систему определенную жесткость, логическую четкость (речь идет о *выражении* системы), категориальную однозначность и категоричность. (Кста-

ти, что-то из этого утеряно в русских переводах Гегеля.) Возможно, есть и еще одно, более глубинное объяснение «категоричности» системы Гегеля, разгадка «тайны» его философии. «Самоуверенность» системы была как бы реваншем философа за собственную нерешительность, неуверенность в себе, постоянные сомнения в своем Я.

Но отчего мучился и страдал сам Гегель? Попытаемся разобраться в этом.

Гегелю 22 года, а он еще практически ничего не достиг в жизни. Даже не нашел своего места в ней. Хотя им уже и сделан выбор между автономией разума и авторитетом божественного слова в пользу свободы разума, этот выбор еще не откристаллизован и не обоснован в текстах, еще не найдены с о б с т в е н н ы е аргументы в его пользу. Гегель все еще остается учеником, пусть даже и великих учителей и событий.

Эти суждения могут вызвать у современного читателя укоризненную улыбку или даже раздражение. Да, к сожалению, в наше время двадцатилетний возраст считается периодом во многом беззаботного юношества. Время, когда мы еще не в состоянии (по ряду, в том числе и объективных, культивируемых нашей системой образования и воспитания причин) серьезно претендовать на интеллектуальную и творческую самостоятельность, а часто и не желаем этого. Не потому ли период ученичества, столь необходимый в юношестве, затягивается порой на долгие годы, а иногда длится и всю жизнь. Вряд ли здесь мне удастся полно выявить причины подобных явлений. Но для меня ясно одно: если сегодня мы всерьез заинтересованы в реальном изменении нашего общества, в интенсивном развитии нашей науки — что однозначно связано с ее действительным омоложением, — то практика затяжного ученичества, препарирования или вовсе ограждения интеллектуальной и творческой самостоятельности юношества и молодежи должна уступить место практике стимулирования широкой самостоятельности мысли, творчества и действия молодого поколения. Талант может не развиться или раскрыться не полностью, если не будет адекватного его индивидуальности простора, в том числе интеллектуального и творческого. И пусть молодости, лишенной жизненного опыта и мудрости, свойственны ошибки и промахи; пусть ее поиски в большей степени подвластны настроению и эмоциям, нежели зрелой разумной взвешенности; пусть порой в суждениях молодых одерживает верх максимализм, стремление оценивать все и всех «по большому счету», что, кстати, нередко принимается за весьма безосновательные амбиции и расценивается как бессодержательное, поверхностное посягательство на авторитеты. Но при всех этих «пороках» молодости, которые, увы, временны («увы» — ибо, по-моему, именно юношеской эмоциональности и страстности, какого-то непрестанного протеста против фальши и догмы очень не хватает нашим интеллектуалам, особенно в общественной науке), вряд ли можно затушевывать, не замечать ее огромных достоинств: интуицию и страсть к новому (будь то в сфере социальной, научной или художественно-творческой), внутреннюю готовность и стремление к *соб-*

ственному самостоятельному творчеству и интеллектуальному поиску в широкой (и даже безграничной) области[13] и др. Ограждение же самостоятельности молодого поколения, сужение его жизненного пространства, стремление направить его интеллектуальные, моральные и творческие силы по уже наезженной колее влекут за собой не просто временный застой в науке, искусстве, обществе. Платой за это является размывание, нивелирование индивидуальности и, следовательно, поощрение и культивирование ограниченной безликости и бесталанности, откровенной «серости». Обо всем этом я пишу здесь и теперь (и сознательно даже с некоторой страстностью), ибо вижу, чувствую, как сегодня, когда молодое поколение вырывается из духовного вакуума на творческий и интеллектуальный простор, когда оно стремится добиться признания его права на самостоятельное, независимое развитие, а точнее, отстоять свою индивидуальность и уникальность (конечно, не без «перегибов»: иногда, может быть, с повышенной агрессивностью, а порой с безосновательным и даже огульным нигилизмом и т. д.), *содержание* деятельности молодежи и юношества остается непонятым или оцениваемым лишь по внешним проявлениям[14]. А ведь именно в этом движении и заключена истина жизни — жизни социума, жизни культуры, жизни науки. Я пишу об этом здесь и теперь, ибо вижу в образах молодого Гегеля и его сверстников «вызов» нынешнему поколению молодых и хочу, страстно желаю, чтобы оно, мое поколение, приняло этот дерзкий вызов, созвучный с вызовом нашей революционной эпохи, с тем чтобы не стать поколением потерянным, а обрести историю как поколение личностей и индивидуальностей.

Вернемся же к Гегелю и его времени. Ко времени, названному эпохой молодых. Великая революция во Франции и духовно-интеллектуальная революция в Германии — именно эти события определяли ту эпоху. Главным действующим лицом этих процессов, основным их исполнителем было поколение молодых. Оно было молодо не только по возрасту, но и по духу, по настроению и порывам, мыслям и концепциям. Финк и Фабер, Гельдерлин и Шеллинг — друзья и сокурсники Гегеля — уже самостоятельно участвовали в процессе духовного обновления Германии второй половины XVIII в., сами творили ее специфическую духовно-интеллектуальную атмосферу. Они писали стихи и поэмы, философские трактаты и исследования, которые приобретали известность далеко за пределами Тюбингена. Гегель все еще был в стороне от «реального дела». В своих революционных идеях он признавался лишь себе и своим близким друзьям. Его философское развитие шло мучительно медленно и на первых порах в основном замыкалось в самом себе. Он не мог еще, как его юный друг Шеллинг, на равных и в открытую спорить с философскими авторитетами. Для Гегеля все еще впереди. Должно было пройти еще несколько лет (с точки зрения чувства собственного достоинства — лет мучительных и горьких), прежде чем теснящиеся в голове мысли и идеи обрели стройность и выстроились на бумаге в предварительном наброске основания системы, поиски которой будут длиться всю жизнь философа. А пока собственное убеждение в отставании от самых блестящих молодых,

болезненное восприятие пропасти между ними и собою (и прозвище «старик» намекает на то, что движется он медленно, трудно) — все приносит страдания молодому Гегелю.

Вопрос о том, чувствовал ли Гегель в себе особый талант, дарование, весьма сложен для обсуждения, хотя бы потому, что он принципиально неверифицируем. Но то, что он стремился к неординарности, яркости и изяществу (в мысли, в жизни, в действии), несомненно. Свидетельство — и выбор друзей, Шеллинга и Гельдерлина. Друзья, окружение способны во многом приоткрыть, сделать понятным внутренний мир личности, ибо дружба — это не только созвучие душ и сердец, совпадение интересов и помыслов, но и сознательный поиск себя в другом, попытка обретения в друге того, что по мнению человека, недостает ему самому, но желанно и жизненно необходимо. Шеллинг и Гельдерлин уже в юности отличались удивительной яркостью и одаренностью, подкупающей уверенностью в себе, какими-то легкостью и изяществом. В них было то, отсутствие чего в себе так болезненно переживает Гегель, к чему он так страстно стремится и что обретает в этой светлой, во многом трогательной дружбе. Гегель прекрасно осознает и искренне радуется неординарности, одаренности своих друзей Шеллинга и Гельдерлина. Он восхищается ими, от души приветствует их успехи, прославляет их, пока оставаясь в тени (и все это делает очень искренне и открыто). «Ты напрасно, — пишет Гегель Шеллингу в 1795 г., — стал бы ждать моих замечаний по поводу твоей работы. Здесь я — только ученик»[15]. При этом основанием высокой оценки друзей является признание самобытности каждого. (Вдумаемся в этимологию этого слова. Оно многоаспектно. Но бесспорно, что главное, определяющее в той смысловой нагрузке, которую оно несет, состоит в утверждении своего бытия. Уникального, неповторимого, индивидуального: быть самим собой — вот главная задача; не самим по себе, а с другими и через других, но собой.)

Гельдерлин, Шеллинг, Гегель. Они такие разные... Но что-то объединяет этих трех, впоследствии ставших великими, немцев, что-то роднит этих трех друзей-студентов. И по-видимому, в том и заключается ценность дружбы, что она, объединяя изначально неодинаковых, различных, создает тот реальный синтез, который становится затем активным стимулом и средством развития и самораскрытия каждой индивидуальности. Каждый, составляющий этот тройственный союз, — личность неповторимо мыслящая, чувствующая, страдающая. Каждый из них по-своему, по-особому представляет и видит мир, жизнь и ее ценности, и, наконец, у каждого свой кумир. Общее для них — в осмыслении чего и через что реализуется каждый — стремление к гармонии с миром и самим собой, к выражению всеединства сущего. Как пишет Д. Хенрих, «они были связаны не только общественными взглядами, но также общими помыслами»[16]. Отношения между друзьями были очень теплыми и душевными. У Гегеля больше никогда не будет таких истинных друзей, и никогда он больше не испытает столь глубого чувства дружеской привязанности. Не потому ли позже, в письмах, он назовет тюбингенский период счастливейшим временем, оставившим яркий

след в сердце и душе. Способен ли суровый и страшный человек на столь трепетное чувство дружбы, на самозабвенную веру в друзей, в их силу и талант? Способна ли черствая душа сохранить уважение, симпатию и даже почитание друга, даже тогда, когда он станет уже бывшим? По-видимому, нет. Все это достоинства доброй, широкой и прекрасной души.

Гегель не соглашается, спорит и даже ссорится с Шеллингом, он протестует против абстрактных построений, отстаивая идеал практической, жизненной философии. Ему ближе Гельдерлин с его идеалом Греции. Греция — вот парадокс! — ощутимее, теплее, живее, чем Германия с ее настроенностью на абстракции. «Гегель и Гельдерлин! Хотя было огромное различие между обоими, одно имели они друг с другом общее — теплую, сердечную, пылкую любовь к Греции»[17]. Гармония, красота, свобода — все то, чем бредили юные друзья, воплощалось в Греции, т. е., по их мысли, в посюстороннем реальном, историческом мире, а не составляло лишь предмет неких спекулятивных построений: там человек мог наслаждаться жизнью, «вкусить жизнь». Гегель с воодушевлением читал греческие трагедии, ощущая их философскую и эстетическую ценность. По словам Леутвейна — и это подтверждает дневник, — Гегель слыл восхищенным певцом свободы, идеи которой осуществились в Греции. Юношеское преклонение перед Грецией как идеалом гармонии и свободы сохранится у Гегеля на всю жизнь. Гегель идеализирует Древнюю Грецию, ибо видит в ней осуществление идей «прекрасной индивидуальности», гармонии и мудрости, уважения к личности. В дальнейшем Греция будет объявлена Гегелем одним из адекватных образов целостной реализации всеобщего, абсолютной идеи.

Греция... Не в ней ли, не с ней ли связана одна из разгадок «тайны» столь сложного личностного образа Гегеля? Холодная суровость, замкнутость, внешний эмоциональный аскетизм — это то, как п р е д ъ я в л я е т с я, каким представляется — и, увы, многим — Гегель. Внутренние же его характеристики (какие-то интимно-сущностные, ибо именно таковым Гегель сам по себе может *предстать* перед нами) — это эмоциональная многогранность, открытость и потребность в общении, любопытство, распахнутость жизни — жизни разума, души и тела.

Быть может, читателю покажутся странными ассоциации с Грецией, с ее образом. Но не есть ли Греция (в своих овеществленных формах: искусство, право, государственность...) единство сдержанной формы и яркой духовности содержания; единство прекрасной кажущейся неприхотливости «рубленых» (классических) форм и внутренней сущностной бездонной палитры бурлящих переживаний, чувств, ощущений, интеллектуальной игры уникальной индивидуальности. При этом смыслообразующим и определяющим становится внутренняя содержательность, эмоционально-рациональная наполненность жизни.

Не была ли именно эта внутренняя наполненность жизни, гармония целостности основополагающим и эталонным для Гегеля в его личностном становлении и развитии? По-видимому, была. Отсюда столь напряженная внутренняя жизнь души и разума, столь

высокий накал эмоциональных и интеллектуальных страстей, что внутренее начинает как бы диссонировать с внешним сдержанным проявлением Я. Но эта кажущаяся несогласованность внутреннего и внешнего в действительности только и создает тот реальный синтез, который подчеркивает уникальность, внутреннюю состоятельность живого гегелевского образа. Кажущаяся внешняя сдержанность лишь высвечивает внутреннюю содержательность и наполненность индивидуальности Гегеля (подобно образу Греции: «скупость» выражения, сдержанность формы лишь подчеркивает глубину и многообразие содержания).

Греция и Франция — эти два образа приводят в смятение, в состояние саморазорванности душу и ум молодого Гегеля. Живые образы осуществленного идеала гармонии и свободы — в прямой, кричащей противоположности тому, что совершается вокруг. Подневольные молитвы и зубрежка, искореняющие всякую мысль; апологетика веры — в ущерб разуму; отстаивание философских догматов — вопреки творческому развитию мысли; отсутствие реальной свободы — вот то, с чем не может согласиться Гегель, против чего восстает его критический и, чего трудно не признать, свободолюбивый ум. Разум и свобода — вот ценности, положенные в фундамент единственной незримой церкви, которую готов признать Гегель. Несомненным теоретическим источником этого идеала является французское Просвещение. Позже сам Гегель охарактеризует Просвещение как рационалистическое движение XVIII в. в области культурной и духовной жизни, основанное на отрицании существующего способа правления, государственного устройства, политической идеологии, права, религии, искусства, морали. Кумир молодого Гегеля, его «герой» — Жан-Жак Руссо. Гегель соизмеряет с ним свои человеческие проявления: внешность, привычки, характер. И философские идеи Руссо импонируют молодому Гегелю. Что же могло привлечь юношу в сочинениях Руссо? Почему именно они оказались столь созвучны мыслям, переживаниям и душе молодого Гегеля?

«Нигде, — пишет Д. Хенрих, — борьба между автономией разума и авторитетом божественного слова не велась так страстно, как в Тюбингене во времена Французской революции»[18]. Дух разума, идеи свободы и равенства — а они были идеалами революции — проникали в молодые головы благодаря работам французских просветителей. Ищущему свободолюбивому духу юношества оказались созвучными мятежные идеи французов. Гегель жадно читает Руссо. Он открывает для себя работы Руссо «Эмиль, или О воспитании», «Хиоб» и другие произведения своего кумира. Все они написаны живым, естественным языком. Гегеля привлекает здесь реальность и жизненность описанного — то, чего лишены многие художественные шедевры. Наверняка созвучным Гегелю оказался и глубокий лиризм работ Руссо, их чрезвычайно богатая эмоциональная насыщенность. Отстаивание верховенства чувств и близости к природе, сентиментальность описаний, лишенных легковесности, искусственности, — то, что отличает произведения Руссо, — все это импонирует молодому Гегелю. Основное, что пока привлекает Гегеля в

работах Руссо, — это утверждение идеала жизни (естественной чувственности, искренности, природности, стремления к гармонии человека с миром) — жизни, которая, по мысли Гегеля, только и избавляет разум от его «оков» — от абстрактных принципов и регулятивов, тормозящих свободное развитие живого. В сентиментальности Руссо Гегель находит воплощение его собственного стремления к внутренне-сущностному, живому, естественному, природному. Гегель принимает сентиментальность Руссо отнюдь не вдруг и не в результате внезапного озарения. Сентиментальность была, по существу, инициирована собственной работой души самого Гегеля — души, распахнутой жизни, жаждущей ее. Это была глубоко осмысленная и прочувствованная потребность собственной души, добивающейся полноты жизни. Поэтому сентиментальность Руссо, ее привлекательность для Гегеля — нечто вроде камертона его души: это «внешние» отзвуки огромной полифонии звуков трогательной и открытой души человека, многим кажущегося, увы, суровым и замкнутым. Чувствующая душа Гегеля находит в Руссо своего «героя». Но и интеллектуальные интересы и помыслы молодого Гегеля устремлены к Руссо. Юноша, еще раньше начавший сомневаться в возможности теологического обоснования мира, находит в работах Руссо не только подтверждение оправданности своих сомнений, но и острую критику религиозного мировоззрения. Провозглашенная у Руссо идея свободы, критика социально-политического и имущественного неравенства, основанное на этом построение морали не могли не запасть в душу мыслящего молодого человека.

Воодушевленный Руссо, Гегель провозглашает разум и свободу незримой церковью, противоположной официальной церкви веры и догмата. Конечно, это не атеистическое отрицание бога, веры, церкви. Но это и не позиция Руссо, критиковавшего господствующую религию с точки зрения деизма, отстаивавшего «естественную религию». Гегель увидел свою задачу в философско-рационалистическом осмыслении теологии. По существу, его философия религии будет продолжением кантовского обоснования «религии в пределах только разума». При этом религия в трактовке Гегеля станет специфической (философской) религией абсолютной идеи. Парадокс, но Гегель не станет бояться абстрактности, ибо противоречие «жизнь — абстрактные идеи» не будет рисоваться ему просто «разрешенным» в пользу прославления жизни. Жизнь и абстрактное предстанут в философии Гегеля в некоем причудливом синтезе, обеспечивающем жизненность системы: абстрактные идеи будут искать свое обоснование, осуществление в жизни, в реальности, а жизнь только в абстрактном и через абстрактное будет в состоянии отстоять свою «свободу» и право на «развитие». Такое понимание будет им утверждено позже. Сейчас же для Гегеля уже ясно, что именно разум (в противовес вере) должен стать главным основанием и средством осмысления и достижения целого, всеединого. Поэтому и в гегелевском толковании свободы превалирующим будет рационалистический аспект. (Наиболее полно он разовьется позже, в зрелых трудах философа, и даже «поглотит» здесь реальный социальный аспект свободы.) Речь будет идти об «освобождении» как познании и образова-

нии. Знание в этом контексте будет пониматься весьма широко. Оно включит, согласно Гегелю, знание науки, культуры, социума. А так как все это следы реализации высшей рациональности (для Гегеля — сам функционирующий разум), свобода будет объявлена знанием разума. Да, единство свободы и разума — искомый в молодости образ гармонии целостного мира — будет реализован Гегелем в результате многотрудного философского пути. Незримая церковь, обретенная в юности, останется как идеал и воспоминание в сердце философа. Логицистски заостренный просвещенческий идеал свободы и разума явится тем содержательным центром, от которого лучами к периферии будут расходиться реальные темы и проблемы, выдвинутые в гегелевской философии.

Но все это будет позже. А здесь, в Тюбингене, только формируется, вернее, брезжит понимание важности и ценности такого пути. Он пока еще не осознан как философский, Гегель размышляет о писательском поприще. Но молодой Гегель уже догадывается о том, каким писателем ему предстоит стать. Писателем, схватывающим единый мир в его сущности. Писателем, освободившимся от оков теологии. Писателем, жаждующим свет, простора, понимания...

Я умышленно не ставлю точку в конце этого разговора. Ибо он не окончен. Не окончен как в смысле еще долгой философской жизни Гегеля после Тюбингена, так и в смысле длительного и многотрудного пути нашего понимания его неоднозначной философии и натуры. Я только стремилась поделиться с читателями своим восприятием Гегеля, его мыслей и переживаний студенческих лет. Мне хотелось если не убедить в неправомерности, то зародить в читателе хотя бы искру сомнения относительно истинности и правдивости традиционного образа Гегеля как «страшного человека». Мне хотелось предостеречь читателя от легковесности и поверхностности суждений о Гегеле. Не думаю, что одной заметкой или статьей можно разрушить предубеждения, создававшиеся многие годы. Но надеюсь, что читатель услышит мой призыв и воспримет эти размышления как приглашение к разговору о личности философа. Надеюсь я также и на то, что начатый разговор найдет отклик в молодых умах и сердцах, ибо он — о вечных проблемах человеческого существования, смысложизненных вопросах бытия, проблемах индивидуального выбора и жизненного самоопределения. А они актуальны и для сегодняшних двадцатилетних. Это разговор о каждом человеке, его уникальности и индивидуальности, его жизненном предназначении.

[1] Однако подчеркнем, что при оценке и анализе социальной философии Гегеля необходимо постоянно иметь в виду основной замысел философии истории мыслителя, главную ее цель. В философии истории для Гегеля наиважнейшим было не написание истории, а выработка некоторых методологических основоположений, схем, принципов подхода к анализу действительной истории. Для Гегеля главным было не «дело истории», а «дело логики» и в этом смысле дело всеобщего.

[2] Цит. по: *Гулыга А. В.* Гегель. М., 1970. С. 127.

[3] Текст опубликован в кн.: *Lemcke M., Hackenesch Chr.* Hegel in Tübingen. Tübingen. S. 63—65.

[4] Johann Friedrich Flatt (1759—1821) был с 1785 по 1792 г. профессором философии, потом теологии в Тюбингене. От Гегеля сохранились его записи и выписки лекций Флата по кантовской «Критике чистого разума». И. Флат пытался укрепить кантовскую позицию веры «разумными основаниями».

[5] Gottlieb Christian Rapp (1763—1794) с 1790 по 1793 г. был преподавателем в Тюбингене. Менее апологетичный, чем Флат, по отношению к Канту. Его теоретические взгляды сводятся к попытке выступить посредником между кантовской разумной этикой и христианской религией.

[6] Karl Friedrich Reinhardt родился 2 октября 1761 г., гимназист Тюбингена с 1783 г. Рейнгардт опубликовал многочисленные памфлеты, в которых он с большим мастерством карикатурно представлял и высмеивал положение в теологическом приюте.

[7] Здесь не случайно сохранено название учебного заведения, в котором обучался Гегель, в немецком звучании, ибо его дословный перевод искажает реальное содержание. Tübinger Stift было специальным учебным заведением, специализирующимся на подготовке богословов, служителей культа, теологов. По своей сути это было нечто среднее между современными нам теологическими учебными заведениями — духовной семинарией и духовной академией. Тюбингенский Theologische Stift был одним из самых значительных — по подбору преподавательских кадров, циклу читаемых дициплин, их содержанию и уровню подготовки студентов — и признанных учебных центров тогдашней Германии.

[8] Имеется в виду окончание Tübinger Stift (1793 г.).

[9] В первое время в Тюбингене существовали строгие порядки. Требовалось проводить все время за изучением теологических текстов. Обязательными были молитвы. Следили и за нравами теологических студиозов: запрещали студентам употреблять вино и табак. Но в студенческую среду быстро проникали вольнодумные настроения, навеянные Французской революцией. Это не могло не отразиться на отношении слушателей Тюбингена и к внутренним порядкам Stift. Рассматривая их как посягательства на свою свободу, студенты стали проводить время в тюбингенских кабачках и пивных, отказываясь от обязательных регулярных молитв. (Среди них был и молодой Гегель со своими друзьями.) Герцог и его помощники, курирующие Tübinger Stift, были вынуждены пойти на некоторые дисциплинарные послабления. В том же издании, в котором опубликованы приводимые здесь дневниковые записи Гегеля, имеются документы, письма, датированные концом 1791 — началом 1792 г., свидетельствующие об официальном разрешении студентам «бывать в тюбингенских кабачках, немного потреблять вино и табак». Однако посещение кабачков и пивных было строго регламентировано по времени — из-за общих и индивидуальных молитв.

[10] Речь идет о произведении Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

[11] Гегель имеет в виду работу Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании», изданную в 1762 г. и приговоренную к сожжению за религиозное вольнодумство.

[12] На это указывает в своем письме и Леутвейн — один из студентов Тюбингена, окончивший институт на год раньше Гегеля. См.: *Henrich D.* Leutwein uber Hegel: Ein Dokument zu Hegels Biographie // Hegel-Studien. Bonn, 1965. Bd. 3. S. 52—61.

[13] Читатель, по-видимому, понимает, что речь идет не о вечном процессе человеческого ученичества в познавании мира: в этом смысле человек — всегда ищущий, обучающийся. И, конечно, не об ученичестве как особом институте формирования профессионала. Речь идет о подражательном, лишенном самостоятельности и личностно-индивидуальных творческих порывов и переживаний следовании (след в след) за кем-то в интеллектуально-творческом развитии, что особенно пагубно для науки.

[14] Я отнюдь не ратую ни за вседозволенность, ни за создание для молодежи некоторых «тепличных» условий, ибо это еще более губительно, чем ученичество. Я даже не за то, чтобы образ мыслей и действий молодого поколения был принят и одобрен. Я — за понимание его целей и стремлений.

[15] Гегель — Шеллингу, 30 августа 1795 г. // *Гегель Г. В. Ф.* Работы разных лет. М., 1973. Т. 2. С. 230.

[16] *Henrich D.* Op. cit. S. 76.

[17] Ibid. S. 59.

[18] Ibid. S. 52.